



НУРАЛИ КАБУЛ САНГЗОР

Перевод Е. Третьяковой

Земля тебе — отец и мать,
И ты будь, как земля.

Восточная мудрость

I

В тот год предгорные долины были переданы лесному хозяйству, и отары овец начали перекачываться в степь. Чабаны теперь, хочешь не хочешь, вынуждены были считаться с новыми хозяевами их гор.

В нашем районе назначили егерем Худайкула-ехидноглазого, который прославился тем, что с каждым лез в спор даже по мелочи. Всю жизнь Худайкул работал где попало и как попало, теперь же, когда стал тагбеги*, откуда прыть взялась. Люди перестали свободно ходить по горам. Худайкул был без ума от радости: и должность высокая, и работа не пыльная, а главное, односельчане теперь, пусть не так уж часто, но пойдут к нему на поклон со своими просьбами.

* Тагбеги — егерь, объездчик.

Еще недавно кто бы заметил Худайкула, разъезжающего тут и там на своей чесоточной лошаденке? А теперь старшие чабаны сами стали искать его под предлогом дружеской беседы. Однажды, как бы между прочим, намекнули ему, что, если есть у него несколько овец, в любой момент в колхозную отару можно пригнать. Худайкул внутренне восторжествовал, но вида не подал. «С несколькими овцами как-нибудь и сами справимся», — ответил он, чтобы казаться человеком честных правил. Чабаны, решив, что желающих принять овец у Худайкула хватает, особенно не упрасивали.

Ждал-ждал Худайкул, когда придут за его овцами, да так и не дождался.

Приказ директора лесхоза Унгара Тилавова не пускать скот к молодым деревьям был объявлен на общем кишлачном собрании.

— Выпас скота на горах абсолютно запрещается, — подытожил Худайкул.

Его слова подтвердил милиционер, суетливый Алимурат, чей старый мотоцикл надоел своим тарактением всему кишлаку.

— Неправда! Не везде, а только в местах молодых лесопосадок, — запротестовал кто-то из односельчан.

— Теперь весь свой скот придется продать, — посоветовал другой.

— Тогда Худайкула, что ли, доить будешь?

— Егерь палку перегибает! Болтун!

— Верно сказано: появится удалец среди цыган, первым — свой дом спалит.

Но толком выступить против никто не решился. Почувствовав, что каждый боится за себя, Худайкул осмелел еще больше. С собрания они с Алимуратом уходили точь-в-точь как пристав с надзирателем.

— Слов нет на этого Худайкула! Никчемный человек — как собаке пятая нога. Но верно говорят: пока лошади прибывают подкову, осел ее брыкнуть норовит. Дали должность Худайкулу — весь кишлак одолел, — сказала бабушка однажды, завидев вдалеке идущего егеря. — Хорошо, что угля много припасли, людям за дровами в горы ходить не надо, а не то бы — не дай бог!

За сорок лет, прожитых на свете, Худайкул не поработал ни разу от души, ни дома себе толком не построил. Плешивый его глинобитный домишко по ночам не отличишь от холма в степи. А когда загорится единст-

венное окошко, выходящее на улицу, дом Худайкула прямо как притаившийся настороже желтый дьявол с красным глазом во лбу.

Мы живем в предгорье, на яссикире *, от этого все дома и деревья внизу кажутся игрушечными. Когда я наблюдаю за односельчанами, снующими во дворах по своим делам, их жизнь мне представляется такой простой! Даже слишком обыденной. Не знаю, в самом ли деле жизнь такова, или это мне только кажется, оттого что дом наш находится на горе, выше других...

— С другой стороны, придирчивость Худайкула тоже нужна. А то люди и Ойкор разнесут по камешку, — сказала бабушка.

Мысленно я с ней согласился. К своему саду-огороду люди никого не подпускают. Почему же в горах человек может делать все, что в голову взбредет?!

Вершины Ойкора с длинными белыми бородами ледников и густой зеленью арчовников, доносящееся с ветром пение кекликов — разве это не богатство? А родники, которые, сливаясь в хрустальные воды Марджанбулаксай**, несут жизнь, дарят радость людям и хлопковым полям?!

Когда думаю об этом, душа поет, а ноги сами несут меня вдоль берега — наперегонки с рекой. Бежал бы и бежал, если бы не обрыв Мушукджар***, такой крутой, что даже к краю его приблизиться страшно. Говорят, раньше у обрыва стояла мельница. Ох и много было шума в кишлаке, когда люди, приехавшие из райцентра, решили строить на месте мельницы электростанцию! По словам бабушки, те, кто разрушил мельницу, поплатились за это. Сам дух Дунетепа, хозяин Мушукджара, покинул свое жилище на солнечном склоне горы и явился перед одним из рабочих. У бедняги рабочего рот так и остался на всю жизнь кривым, а строительство остановили. Еще бабушка рассказывала, что раньше Мушукджар находился далеко в низовье, у кишлака Джарбулак. Смывала вода берега, смывала, и обрыв дошел до границ нашего селения. Только бетонная плита, положенная для электростанции, сумела остановить разрушительную работу реки.

* Яссикир — плоская вершина холма.

** Марджанбулаксай — дословно: родник из хрустальной воды.

*** Мушукджар — кошачий обрыв.

Когда я бегу наперсгонки с Марджанбулаксаем, струи весело играют речной галькой, со мною вместе по мокрым камням скачут солнечные лучи. Но стоит приблизиться к обрыву, мой задор остывает. Не могу себе представить, как хрустальная вода упадет в эту адскую пропасть, где одни колючки, где дикне кошки воют по ночам. Деревья и травы у берега протягивают руки, чтобы спасти, удержать прозрачные струи, но холодный Мушукджар неумолимо поглощает реку.

Выйдя из крепких объятий матушки-горы, любимого Ойкора, причесав густые волосы плакучих ив, бурно и весело бежит Марджанбулаксай через весь кишлак. Тербит душистые стебли мяты, щедро делится своей влагой с людьми, поливает жаждущие сады и огороды. В него глядится солнце, и он искрится от радости. А на Мушукджаре он закрутится воронкой и превратится в водопад.

Срываясь с обрыва, поток бушует, как бы утверждая: «Все равно ты бессилен, черный Мушукджар. Мне надо к земле, к зеленым полям, и я добьюсь своего!» Как я хочу, чтобы он победил, чтобы выбрался из адского обрыва на зеленые поля, которых я никогда не видел! Чтобы течь свободно и раскованно, видно, надо пробраться через обрывы... Место, где Марджанбулаксай вырывается из плена Мушукджара, видел мой отец. Когда я вырасту большой, я обязательно поведу туда бабушку. Я сказал ей об этом, и она ответила: «Повелит аллах, сходим».

Когда пошли разговоры о том, что все овечьи отары спустят к низовьям, к Туваксаю и погонят в Джизакскую степь, на горах оставят лишь немногочисленные стада коз, люди перестали обвинять Худайкула в придирчивости. Пастухи коз ходили именовниками, чабаны смотрели мрачнее тучи.

Помню, однажды к отцу за советом пришел бригадир чабанов, разговорчивый Саттар. На голове у Саттара как всегда топорщилась старая солдатская ушанка, с которой он не расставался ни зимой, ни летом.

Когда мама поставила на дастархан блюдо с бешбармаком, разговор перешел к злободневному вопросу.

— В холода горы защищали нас от буранов, — сказал отец, приглашая Саттара попробовать бешбармак.

— Да уж, не говорите, к кошарам у Кирккиза не то что буря, камень с горы и то не попадет. Барану — лишь бы пастбище было сухим, тогда он и без прикор-

ма перезимует, — заговорил Саттар, неторопливо протягивая руку к блюду.

— Да, зимой, когда выпадет много снега, будет нашим овцам трудновато в степи. Это тебе не горы, где много защищенных от ветра мест и снежный покров не глубокий.

— Скотина с голоду дуреет. Чабан Раббим рассказывал, что в суровую зиму шестьдесят восьмого года у него целая сотня овец сдохла. Погибли, говорит, наевшись земли.

— Я сам видел такое. Овцы не могли выйти из кошары и грызли саманные* стены. Не подвези мы тогда сено, стены бы рухнули и кошара завалила бы скот.

— Верно сказано, Рахманкул-ака, — хоть зимовка один раз в году, зато с ней забот — круглый год. И никуда не денешься, если на роду написано быть тебе чабаном.

— Ну что ты?! В степи у людей много других профессий. Это тут нам нечего делать. Только и знаем, что с чабанской палкой за отарой ходить.

— Ночью не спится, если не слышно запаха отары... Да что об этом говорить! В горах до всего рукой подать. Кишлак у подножья, с любой вершины покричишь, — тебя услышат дома. А сколько у нас в горах разной дичи! Тут человек без пищи не останется. Особенно зимой. Проголодавшиеся звери сами идут к огню. Одним зарядом дробы можно убить кучу кекликов! — глаза у Саттара загорелись, он рукавом вытер вспотевший под шапкой лоб.

Отцу был не по душе азарт Саттара.

— А может быть, именно это и имело в виду государство, — строго сказал он. — В ту голодную зиму я около своей кошары встречал таких птиц, о которых отроду не слыхивал. Всякая божья тварь с голоду к человеку тянется. А человек, только на снегу что-нибудь зачернеет, — сразу за ружье. Да что ружье! Чабаны, молодые ребята, палкой орудуют! Это у них вроде спорта, ловкостью похваляются.

— Животные Ойкора и Моргузара голодали, потому что трактора лесного хозяйства не могли пройти через снежные заносы.

— К зимовке надо готовиться заранее.

* Саман — глина, перемешанная с соломой.

— Не подумаем как следует, не подготовимся, а потом за голову хватаемся: «Гора не гора без пения кекликов!» Волкам, нашим ойкорским разбойникам, скоро есть нечего будет.

— Вот переедем в степь, тогда освободимся, наконец, от волков. Сколько мы их ни били, каждый год остаются три-четыре самых матерых, пуленепробиваемых. Теперь они будут вымещать свою злобу на козах, — сказал отец.

— Коза — родня шайтану: и волка перехитрит! А в степи, говорят, вместо волков — шакалы. Огромные! Ягненка под мышкой могут унести.

— Это люди преувеличивают. Шакал не человек, чтобы брать под мышку. Наоборот, хищники в степи трусливые. Заорешь разок как следует, уберутся восвояси. А наши ойкорские волки — боже сохрани! Идешь на него с заряженным ружьем, а он сидит и глазеет на тебя в упор. Кстати, знаешь, Саттар, в стране сейчас насчитывается около сорока тысяч волков.

— И их, что ли, посчитали, как овец?!

— Посчитали. Люди специальные для этого есть.

— В степи места равнинные, там, наверное, собаки волка за десять верст почуют?

— Почуять-то почуют, но если что случится, то и не догонят. Там, в степи, на волков охотятся на мотоцикле: настигнут, ослепят фарами и стреляют.

— Да уж, теперь собаки не те. Раньше они были охотницы, а теперь дай нежареное мясо, — нос воротят.

— Зачем собак ругать? Люди сами виноваты, что собак к этому приучили. Сытая жизнь пошла. А собака, если хорошая, лучше иного чабана.

— А ветры какие зимой в степи! Как понесут снег с песком, — нет ничего хуже. Такой ветер кошару свалить может. Тогда прощайся со своими овцами: которых не завалит, те умрут от холода.

— Чтобы кошара не завалилась, на подветренной стороне надо насыпать плотную кучу сена. И ветру преграда, и запас на черный день. Сам знаешь, Саттар, когда сухую степную полынь подмочит снегом, нет лучшего лакомства для овец. Откровенно говоря, я не прочь поработать с кетменем в степи.

— Да что вы мне проповеди читаете? Говорите, как по писаному! Сам аллах дал нам в руки чабанскую палку. Деды, прадеды наши ее носили. Для нас это кров-

ное дело! Это — как клятва! — разгорячился Саттар.

— Время такое наступает. Мы с тобой пасем овец с палками, а другие — на мотоцикле.

— Все равно когда-нибудь припомните вы мои слова, — сказал Саттар, как бы предупреждая, мол, еще посмотрим, кто из нас окажется прав.

После еды Саттар двумя пальцами вытянул из кармана флакончик с насом, отвернул красивую крышечку, и, насыпав на ладонь кучку табака, отправил его в рот. Казалось, он весь сосредоточился на этой шепотке наса под языком.

Отец не продолжал разговора, не желая отвлекать Саттара от его табачной церемонии.

Но тут вмешалась бабушка, до сих пор молча мотавшая пряжу в углу:

— Что вам мировые проблемы решать? Куда вы только рветесь? Или в родном кишлаке не сытно живетесь?!

— Выходит, так, тетушка Аймума! Переселят нас в степь, — неуклюже выговорил Саттар, переворачивая табак под языком.

— Скажите: «Не согласны мы!» — бабушка пристукнула веретенком по колену. — «В горах отцы и деды наши жили. Здесь, — скажите, — наш дом!» Или вы боитесь, мужчины?

— Это дело государственное, а мы — простые люди, — пожал плечами Саттар.

— А государством разве не люди управляют? И у них две руки, две ноги, круглая голова. Разве не поймут, если вы объясните?

— У тех, кто решает, головы, как видно, умнее наших, — улыбнулся отец.

Сердце бабушки болело не только за нашу семью, но и за весь кишлак. «Оставить Ойкор, Марджанбулаксай, наши горы — это неуважение к духу дедов и прадедов», — поучала она нас. Весь мир для бабушки — это вечные белые вершины Ойкора, наш кишлак Бешбулак — «пять ручьев», приютившийся у подножия гор, нивы, грустящие над водой Марджанбулакская, напитанной густым ароматом трав.

Каждое утро бабушка выходила к реке, умывалась ее ледяной белопенной водой и рассказывала Марджанбулаксаю свои сны. Просила Ойкор быть милостивым, дать людям покой, работу и хлеб

насушный. Реку и горы бабушка любила как нас, своих детей.

— Может быть, это и лучше — переехать в хлопководческие районы. В колхозе детсад, школа. Во время хлопка будем спокойны за детей, — сказал отец, чтобы нарушить затянувшуюся тишину.

— У узбека отроду написано на лбу «хлопок». Не успокоится, пока хоть раз по хлопковому полю не пройдет, — изрек Саттар с таким видом, будто бы всю жизнь только и делал, что растил хлопок.

— Степные чабаны говорят: на хлопковом поле после уборки урожая отары набирают вес даже быстрее, чем на хлебной стерне. Семена, оставшиеся в нераскрытых коробочках, — сплошное масло. Скотина может лопнуть от объедения, если вовремя не сгонишь с поля.

В это время кто-то постучался у калитки: звали Саттара. К нему из степи Джидали-Лоховое товарищ приехал. Саттар засуетился, бестолково сдернул шапку и протараторил что-то на прощание, кивая головой каждому своему слову.

— Даже не простился как следует, — сказала бабушка в ответ на стук закрывшейся калитки. — Нечего вам делать в степи. Саттар пусть едет, если хочет, а тебя, сынок, никто там не ждет. Здесь еще будут нужны чабаны. Какая тебе разница: овечья отара или козье стадо?! А дом без мужчины — сирота. Дети твои еще малы, заменить тебя не могут. Как жена твоя, бедняжка, одна управится и со скотом, и с малышами, и с домом? Ведь я уже ей не помощница!

— Я же не уезжаю сегодня, мама! Директор пока еще не решил, кого послать в степь, а кого оставить. Я думаю, три-четыре отары оставят на Ойкоре на всякий случай. Может быть, и нас не тронут, — объяснил отец, чтобы успокоить бабушку.

— Не слушай ты болтуна Саттара! Он не хозяин своего слова, дружен лишь с тем, кто ему нужен. Отец его покойный, прости меня аллах, точь-в-точь такой же был. Не поддавайся ты на этот обман! Скажи: «У меня старая мать, куда я с ней поеду?!»

Потом отец вышел за хворостом, а я сидел и представлял, как мы поедем в степь, как минuem по дороге обрыв Мушукджар и увидим наш сай среди необъятных зеленых полей... Вот бы посмотреть на это хоть раз в жизни!

«Эх, сынок, не тебя, а себя винить мне надо: сама воспитала таким. Отец твой покойный тоже был из тех, кто, сойдя с коня, с седла не сходит». Так сказала бабушка, когда стало ясно, что мы переезжаем в степь.

— Благословите нас, тетя Аймумал! — едва войдя на порог, начал взволнованный Саттар. Он утер рукавом фуфайки пот с лица и тяжело опустил на землю.

Отец перевязывал веревкой тюк плотно скатанных одеял. Мама, стараясь скрыть беспокойство и недовольство переездом, молча собирала вещи. Бабушка сделала вид, что не замечает Саттара, как будто бы во всем был виноват он один. Морщины, избородившие лоб и щеки бабушки за долгие годы жизни, в этот день стали еще глубже, на осунувшемся от бессонных ночей лице казались живыми только ее глаза. Нитка в бабушкиных руках то и дело рвалась, веретено падало, может быть, из-за этого она сердилась все больше и больше. Отец знал, что лучше не смотреть в ее сторону. Только когда уже все было готово, он робко, как маленький, присел у ее ног.

— Как мы оставим вас? — вздохнул отец.

Было решено, что я останусь с бабушкой.

— Если жаль отдать мне ребенка — забирай, одна проживу, — ответила бабушка, не поднимая глаз от пряжи.

— Да я не об этом. Трудно вам будет без нас! И одному человеку нужны еда, питье, дрова, одежда, огонь в очаге. Всего вам впрок заготовили, но все же трудно придется...

— Не о себе я думаю, сынок. Как мне оставить дух твоего отца?! Он придет сюда, а меня нет, — в глазах бабушки появились слезы.

— Я буду часто навещать вас, нехорошо мне оставаться, когда решили ехать. Вы сами понимаете...

— Аллах поможет, сынок! Я согласна. Святое дело озеленить степь!

— Ну тогда благословите нас! Вот перевезу домашний скарб и с этой же машиной вернусь обратно. Потом погоним отары в степь.

Во дворе урчала машина, как будто сердилась, что мои родители так долго мешкают.

Ну и пусть меня не берут с собой! Я останусь с бабушкой. Она меня никогда не ругает. Отец не разрешил

мне уходить далеко от дома, а теперь я смогу убежать, куда захочу! Пойдем с ребятами на Мушукджар смотреть голубей. Теперь я свободен.

Наконец бабушка отложила веретено и подняла ладони для благословения.

— Амин! Жить вам в добре и здравии, благополучно добраться до нового места. Доброго пути, дети мои дорогие! Да поможет вам аллах!

В доме, обращенном к горам и солнцу, остались мы вдвоем. Теперь единственным близким человеком и советником для бабушки был я. Бабушка разговаривала со мной, как со старшими, на «вы». Не забывала спросить моего мнения, когда косить люцерну, где разложить виноград на просушку. И я серьезно отвечал. Я понял, что теперь уже не могу, как раньше, беззаботно бегать по улицам, что я должен следить за бабушкой, она теперь — мой ребенок.

Дни, казалось, потекли медленнее. Ровесников у меня в кишлаке почти не осталось, поэтому большую часть дня я проводил с бабушкой. Настало время делать заготовки на зиму, ребята помогали взрослым возить солому. А у моей бабушки не было других дел, как только мотать шерсть и совершать намаз. Пять раз в день она молилась богу. Когда мне надоедало слоняться по двору, я присаживался около нее. Шептал себе под нос что-нибудь — совсем как бабушка — и повторял ее движения. Сначала бабушка отталкивала меня, не прерывая молитвы, а только видом своим говоря: «Что ты в этом понимаешь? Иди отсюда!» Но я продолжал сидеть. Потихоньку она привыкла... Как сядет молиться — я с ней. Она шепчет, и я шепчу: сначала идут слова не очень понятные, а в конце: «Амин! Посвящаю духу отца и матери».

Вечернюю молитву бабушка всегда заканчивала так. Но однажды она не провела ладонями по лицу, а продолжила:

— Аллах мой, дай мне увидеть смерть муллы Мансура и Рахима, его приспешника! Пока живы эти неправедные люди, сгубившие моего мужа, не могу я умереть спокойно!

Конечно, я не повторил эти слова. И тогда, когда бабушка занялась чем-то по хозяйству, я все продолжал сидеть и думать: «Почему бабушка так сказала? Почему попросила смерти другим? Ведь она всегда учила нас: чем желать смерти другому, лучше помолись о сво-

ей жизни». Я очнулся, лишь услышав, как запрыгала крышка на старом медном чайнике.

Бабушка протянула мне маленький чайничек для заварки:

— Будь осторожен! Не обожги руки!

Я заварил чай и принес ей.

Бабушка отвернула фитиль лампы, чтобы огонек был поярче, и занялась своей пряжей. А я засмотрелся на звезду, видную в проем открытой двери. Выйдешь во двор, а звезды, оказывается, уже заполнили все небо, их свет рассеивает темноту. Горы дышат ночной прохладой. Шумный говор реки заглушает все звуки ночи. Лишь изредка сквозь него пробивается лай кишлячных собак или голос человека, который ищет непришедшую домой со стадом козу или корову.

Что делает сейчас там отец, далеко, на равнине? Не могу себе представить... Почему бабушка сегодня так сказала?..

— Ты о чем задумался? Соскучился по родителям? — спросила бабушка.

— Не-ет.

— Ты маленький, тебе еще рано грустить. Заботы мира пока не для тебя!

— Я думаю о ваших словах.

— О каких словах? — бабушка опустила веретено.

— Вы желали смерти другим. Вот я и думаю, — сказал я нерешительно, — что плохого сделали эти люди?

Бабушка долго смотрела на меня. Так долго, как будто увидела во мне кого-то другого, далекого, кого и не надеялась никогда больше увидеть. Веретено сорвалось и скатилось с ее коленей на кошму. Я подхватил конец нитки, смотал ее и протянул бабушке. Бабушкина рука, почувствовав тяжесть веретена, вздрогнула.

— Да, мой верблюжонок, — проговорила она тихо, будто вздохнула, — сделали плохое. Много я в жизни повидала. Хоть и неграмотная, а зло от добра отличать научилась... Не без причины пожелала я смерти тем людям. Только если бы слова так легко сбывались! Слово — не дело. Человек всякое сказать может. Душа человеческая не в словах, а в поступках раскрывается.

Твой дед был очень образованным, ниспошли ему аллах покой хотя бы на том свете! Он мечтал собрать всех ребятишек кишляка и организовать школу в мечети. Куда там! Люди не отдали своих детей на учебу.

«Кто, — сказали, — тогда баранов и коз пасти будет?» Но ученость его уважали: кому письмо, кому заявление составить, все шли к твоему деду. Тем и жили мы.

В это время пришла весть, что белого царя свергли, что теперь все будет по-другому. Потом появились басмачи. Когда они приходили в наш кишлак, мы прятались на Ойкоре. Ойкор помог нам тогда выжить. И вот стали организовывать колхозы. Какой-то начальник сказал твоему деду: «Будешь председателем!» — «Не учился я такому делу», — ответил твой дед.

Пришел он домой, рассказал обо всем мне. Не ждали мы беды, но, как известно, через соседский забор всякая весть вмиг перескакивает. И нашелся в округе злой человек, сумевший истолковать тот разговор по-своему... Рахимберды его имя. Не зря дед недолюбливал этого человека. Всякому встречному-поперечному старался Рахимберды в душу влезть, ни одного прохожего мимо своей калитки не пропускал, не поглядев за ним в щелку.

Однажды темной ночью Рахимберды и мулла Мансур привели четырех аскеров-красногвардейцев. Забрали твоего деда... Потом узнала я, что расстреляли его на каком-то... трибунале. Даже похоронить хотели без соблюдения обычаев, в большой яме, среди других. Эх, мои черные дни... И врагу такого не пожелаю. Не было человека, который мог бы потребовать правосудия. Из-за несправедливости ушел твой дед в иной мир.

Потом Рахим стал председателем колхоза, а Мансур, грязный мулла, — председателем сельсовета... Давно это было. Много воды утекло с тех пор в Марджанбулаксае... А ты знаешь, где теперь эти люди? Мансур, донесший, что твой дед «мулла и вражеский элемент», теперь опять взялся за коран, и бессовестный Рахим вместе с ним. На кладбище Бахмазар отпевают мертвых.

— Как же таким людям не стыдно жить на свете, бабушка?

— Они не люди, мальчик мой. Случается, что человек только рождается человеком, а потом, в драке за лучший кусок, отказывается от всего человеческого в себе.

Одно у меня осталось желание в жизни: чтобы аллах прибрал сначала их двоих. Потом уж и мне можно будет уйти спокойно. На кладбище все равны, но все же не хотелось бы умереть раньше своего врага. Эти двое

виноваты в гибели тридцати человек из нашего кишлака. Говорят, Рахим недавно переехал в Джизакский район. Стыдно, что ли, стало смотреть в глаза детям тех, кого он отправил на тот свет?!

Я никому не рассказывал о разговоре с бабушкой. Это был секрет, о котором даже подумать — и то страшно становится. Но вообще бабушка была права. Она у нас очень справедливая, все соседи уважают мудрость и истинность ее слов. Мне казалось, бабушка одной молитвой могла убить своих врагов. Всякий раз, когда она садилась за намаз, я боялся, что она повторит те ужасные слова.

А она говорила:

— Аллах мой! Не отрывай меня от родной земли! Забирай меня поскорее. Лучше умереть на Ойкоре, чем жить вдалеке отсюда...

Ладони мои так и остались поднятыми. Неужели бабушка хочет умереть?! И раньше бывало такое? Или это у нее оттого, что вся наша семья переехала в степь?.. Надо срочно сообщить об этом отцу.

Мы с бабушкой очень любим сидеть на холме перед домом и смотреть на сай. Течет по камням вода, струится нить между пальцев бабушки. Бабушка прядет, река тихонько подпевает ее работе. Я гляжу, как бегут по небу белые бурунчики облаков, и думаю: «Где начинается Марджанбулаксай? Наверное, там, на горизонте, где Ойкор соединяется с небом».

Однажды к нам подъехал Худайкул на своей чахлой кобыле.

— Хорманг, бабушка и внук! Как поживаете? — спросил он как всегда ироническим тоном.

— Слава аллаху. А ты сам? Здоровы ли твои дети? — спросила бабушка, мотая шерсть.

— Охраняю государственное добро, — важно ответил Худайкул. — Без егеря в горах никак нельзя.

— Деревья, что ли, подпираешь? Ведь никого в горах не осталось, отары угнали в степь.

— Эх, — крикнул Худайкул, слезая с лошади. — Овца — смиренное животное. Ходили отары по горам, но деревья не трогали. А вот козы... Как они мне надоели, проклятые! Лучше бы их в степь угнали, а овец оставили тут.

— Конечно! Тогда можно было бы и твоих овечек к колхозному стаду пристроить. Теперь возишься с ними сам. Что же ты их раньше не сдал в кишлачную ота-

ру? Слишком большим начальником себя возомнил? Забыл, что, даже взлетая высоко, человек не должен отрываться от народа?!

— Ничего, — смутился Худайкул, — со своими четырьмя овцами я что-нибудь придумаю. Можно в крайнем случае и в козью отару их отдать, не станут же они от этого рожать козлят!

— С виду неплохой ты человек, Худайкул, да что-то внутри у тебя не то.

Не найдя, что ответить, Худайкул попытался прикрыться улыбкой. На лице остались только две маленькие щелки, но из этих щелок неприятно поблескивали его юркие крысиные глаза. Он хотел весь разговор превратить в шутку, а бабушка говорила серьезно.

— Твоя покойная мать подругой мне была. Ты не должен лгать, Худайкул! Скоро уж мне уходить на тот свет. Как я скажу твоей матери о том, что ты обманывал меня? Ответь честно: почему тебе досталась должность егеря? Как Джаббар-хитрец тебе ее уступил? Или ты взятку дал?!

Улыбка застыла на лице Худайкула, как будто не смогли разжаться морщины по углам его глаз, и челюсть отвисла по-собачьи. Он вконец растерялся. Не зная, куда себя деть, егерь заворочался, привстал на колени, потом опять уселся на землю.

— Крысы, что ли, ходят у тебя внутри?! — сердито спросила бабушка и, повернувшись ко мне, совсем другим голосом сказала: — Базарбай, мальчик мой, придержи веретено, пока я смотаю шерсть в клубок.

Я всегда помогаю бабушке сматывать шерсть. Чтобы веретено не сорвалось с нитки, его надо держать обеими руками, захватив концы между большим и указательным пальцами.

Пока бабушка мотала, Худайкул не промолвил ни слова.

— Что ж ты, Худайкулджан, совсем сник? Значит, вправду, нечисты твои дела, — бабушка опять наступала впрямую.

— Э-э-э, тетя Айума! Что я мог такого сделать?.. Малыш, иди-ка поиграй! Когда старшие разговаривают, маленьким слушать не положено. Я твоей бабушке сам помогу, — сказал Худайкул, отбирая у меня веретено.

— Иди, Базарбай, поиграй с ребятами. А ты, Худай-

кул, отдай мне веретено. Зажму его между пальцами ног и смотаю.

Пришлось мне уходить с холма. Сначала я думал пойти в сторону Мушукджара, но очень уж хотелось послушать, что скажет Худайкул. Обошел я холм и лег с подветренной стороны.

— ...Кого захочу, перехитрить могу, но перед вами умолкаю, тетушка Аймума! Почему это так? Святая вы, что ли?.. Все вам можно раскрыть, обо всем посоветоваться. Хорошая у вас привычка: хранить чужие тайны на замке, — сбивчиво говорил егерь. — По правде сказать, я чуть концы не отдал, пока добивался этой должности. Куда ни сунусь, вижу, Джаббар везде свои корни пустил. Крепче чинары сел... Но, говорят, один аллах лучше десяти пророков. Добрался я до самого главного начальника. В ноги ему кланялся, просил: «Будьте моим покровителем, единственным на земле!» Все свое добро истратил на него. И гляжу — двух недель не прошло, прибыл приказ на меня.

— Бессовестный ты, — тихо проговорила бабушка. — Как после таких дел можешь спать спокойно?! Неужели у тебя душа не болит, Худайкул?

— Да как вам объяснить?.. Когда в новинку было — болела. А потом понял: я не сделаю, так обязательно кто-нибудь вместо меня это сделает. Вот так-то... Хороша ваша правда, тетушка Аймума, а только моей неправды не осилит.

— Аллах всевышний, во что превращаются люди! Знала я за тобой и завистливость, и нечестность, но думала, что это у тебя от слабости характера... А ты вот какой стал! Не будет тебе счастья, Худайкул! Аллах все видит. Ты уже сесть начал, сынок, пора опомниться! Когда успеешь пожить по-человечески?

— По-челове-е-чески... — протянул Худайкул. — Не хуже ваших праведников живем, — в доме все есть. А совесть — не ковер, на стену не повесишь.

— Вот это и есть самое плохое, что такие поганцы, как ты, живут припеваючи! Дурной пример подаете. Но знай, Худайкул, если людям видна только твоя сытая улыбка, то богу видна душа твоя черная.

— Если хотите знать, с нами и сам аллах не справится! Может, для кого мы и плохие, но о себе позаботиться умеем. Научились вертеться: стреляйте — промахнетесь! «Аллах все видит»! Да только у аллаха, видать, тоже две руки, две ноги и круглая голова.

— Не погань святое имя! Время покажет, кто из нас с тобой прав. Послушай, что я тебе расскажу... Умер один бессовестный, вроде тебя. Отнесли его, как всех людей, на кладбище, в вечный дом. Только люди отошли от могилы на семь шагов, как явились суровые судьи Мункар и Накир. «Встань, божье существо, — повелели они, — ты должен ответить на наши вопросы». — «Сколько раз можно допрашивать одного и того же человека?! — прикинулся бессовестный. — Только что до вас тут другой ангел побывал». Не зная, как поступить, Мункар и Накир пошли к аллаху: «Скажи, всевышний, одни мы на свете Мункар и Накир или есть другие Мункар-Накиры?» И сказал аллах: «Этот проходимец привык всех вокруг пальца обводить. Вот и вы попались на его удочку. Не ходите к нему, не трогайте. Не пушу его грешную душу ни в рай, ни в ад, а то этот пройдоха и там все спутает!» А ты говоришь «не справится»! — пригрозила бабушка.

Худайкул понял рассказ по-своему.

— Вот это да! — воскликнул он. — Мункара с Накиром, самых строгих судей, провел! Ну и человек!

— Славу богу, не все люди такие, — пробурчала бабушка. — А вы, те, что всю жизнь чужой хлеб делите меж собой, богаче от этого не станете. Ты приберешь к рукам чье-нибудь добро, тебя ограбят твои же дружки.

— Сдаюсь, тетя Айума! Победили вы меня. Не зря мать моя завещала мне прислушиваться к каждому вашему слову!

— Нечего! Нужен ты мне! Не ходи к нам. Как поговорю с тобой, жить мне не хочется.

Худайкул виновато примолк.

— Иди по своим делам! Ты на работе, вот и охраняй свою гору, — сказала бабушка.

— Как живете вы тут одна-одинешенька? Зашли бы к нам. Жена моя по вас скучает, — извиняющимся тоном пригласил Худайкул.

— Времени нет. Хозяйство большое, а хозяев всего — старуха да малолетний мальчонка.

Я спрятался за куст и оттуда наблюдал, как шел Худайкул к своей кобыле.

Лошадь, почуяв его приближение, стала быстро-быстро обкусывать траву, будто зная, что сейчас Худайкул оторвет ее от лакомой приарычной зелени.

Кончались скороспелые дыни — хандаляк, и верблюжья колючка отцветала. Долины нехотя расставались с зеленым нарядом: неумолимое солнце покрывало их желтой кошмой сухой травы. А на Ойкоре до сих пор зеленела весна. Иволги, перелетая от одного куста к другому, звенели о том, что наступает саратан — самый жаркий месяц по мусульманскому календарю. Жаворонки неподвижно зависали в небе. Жара прибывала с каждым днем. Через край переполняла Марджанбулаксай вода. Веселым стадом бежали по реке бурунчики, белоснежные, как породившие их снега Ойкора.

Поля люцерны поделены между несколькими семьями, оставшимися в кишлаке. Начался сенокос. Мы с бабушкой тоже, как все, дважды скосили свою люцерну. К концу сенокоса бабушка неожиданно заболела, и за все домашние дела пришлось отвечать мне одному. Ох и трудно было! Ребята раза два приходили звать меня в горы за птенцами кекликов. Потом, убедившись, что я не могу оторваться от дома, приходили перестали и прозвали меня домашней курицей.

У ребят всегда так: посмеются над тобой однажды, самый ехидный выкрикнет: «Домашняя курица!» — и все подхватят. Потом и случай забудется, а прозвище останется. Прицепится, как лишай, ничем не выведешь. Теперь всегда будут меня так обзывать... До слез обидно становилось, когда я думал об этом. Но больше всего меня тревожила бабушкина болезнь и то, что она сама с собой разговаривала по ночам. Через людей я известил об этом отца.

На другой день отец приехал.

Наверное, теперь бабушка скажет ему: «Брось ты свою степь, возвращайся домой! Не то умру я в одиночестве, и некому будет закрыть мне глаза».

Мы вошли в дом. Бабушка лежала лицом к дзери.

— Устроились гам, в степи? Привыкаете? Все живы-здоровы? — спросила бабушка и медленно приподняла дрожащую руку, чтобы утереть навернувшиеся слезы.

— Спасибо, мама! Все передают вам привет. — Отец нагнулся к бабушкиному изголовью. — А сами вы как себя чувствуете?

— Что обо мне говорить! Вы в покое — и я спо-

койна. Как младшие мои внуки? Как налаживается хозяйство у вас с Зейнаб?

— В палатке живем. Дом строим. Глинобитные стены уже готовы.

— Хорошо. Где человек строит дом, там поселяется его любовь.

— Только вот лесоматериалы на крышу нигде не можем достать. Если бы вы переехали к нам, то можно было бы разобрать этот дом и использовать...

Бабушка перестала смотреть на отца. Ее взгляд был устремлен куда-то вверх. Увидев это, отец сбился и покраснел. Не зная, как поправить положение, он тяжело вздохнул и умолк. Я невольно вспомнил слова бабушки: «Птицы улетают, но гнездо не разрушают».

— Земля в степи хорошая, работы много. Сейчас я бригадирствую, мама, — проговорил отец, как бы оправдываясь.

— Это хорошо. Осенью приедем к вам на помощь. Будешь, Базарбай, ходить в четвертый класс в новую школу, — сказала бабушка, и в глазах у нее опять блеснули слезы.

— Если вы будете с нами, наши силы удесятятся, — обрадовался отец.

— И Базарбай подрост за эту весну, совсем стал взрослый!

К вечеру бабушка встала и принялась готовить еду. Я был просто удивлен, как быстро вернулись к ней силы.

— А может быть, и до открытия школы нам с Базарбаем съездить к вам в гости? — задумчиво сказала бабушка, провожая отца.

— Как же так, раньше вы ни за что не соглашались ехать в степь, а теперь вдруг передумали?! — спросил я бабушку, когда отец уехал.

— Помолодело мое старое сердце, внучек, когда посмотрела в горячие глаза твоего отца. Теперь я рада, что сын мой за большое дело взялся. И знаешь, Базарбайджан, сегодня ночью я увидела во сне дедушку твоего. Как будто бы среди большого белого поля собирает он хлопок и манит к себе рукой. Видимо, обиделся покойник, что отца твоего одного я отправила в степь. Надо поехать. Когда все были здесь, помогала то советом, то делом. Аллах не пожелал, чтобы так было всегда. Дети мои уехали, а я осталась одна. Зачем мне так жить на свете, никому не нужной, — сказала бабуш-

ка, задумчиво глядя на меня. Она долго сидела неподвижно, опершись подбородком на веретено, с которым опять не расставалась.

А я-то подумал, что бабушка просто соскучилась по маме, папе, по моим младшим братишкам и сестренке... Нет, это было не простое желание повидаться с родными. Бабушкой владело какое-то необъяснимое, огромное чувство, недоступное моему уму. И как оно было непохоже на мои мечты уехать далеко-далеко — мимо Марджанбулакская, мимо обрыва Мушукджар, чтобы увидеть наконец то место, где вода выбирается на зеленые поля!

В воскресенье бабушка повела меня на Ойкор. Для нас привычна эта дорога к мельнице, туда, где Марджанбулаксай срывается с горы. На плоскогорье за старой мельницей находится кладбище. Там покоятся наши предки. Бабушка рассказывала мне, что давным-давно, когда Шейбанихан разбил войско узбеков, людям надоели бесконечные войны и притеснения. Тогда многие ушли в горы. Наши предки поселились здесь, на Марджанбулаксае. С тех пор прошло по траве Ойкора одиннадцать поколений. Бабушка — двенадцатая, отец — тринадцатый, а я — представитель четырнадцатого поколения.

«Сколько рождений и похорон видел Марджанбулаксай! Так и течет он, — говорит бабушка, — как бы повторяя: «Все в мире преходяще». Ручьи стекают с холма, где покоятся наши предки, и несут воду нам, живущим и возделывающим землю. Плакучие ивы растут у реки, склоняя до самой воды свои длинные косы, — это знак уважения к памяти наших предков. День и ночь вращаются каменные жернова мельницы, движение их тяжело и непрерывно, будто все тяготы мира — у них на плечах. Усталая стоит мельница, вся в мучной седине. А у ног ее копошатся воробьи и горлинки, выскивая пшеничные зерна среди белого праха.

Горлинок совсем не узнать! Боже мой, сама вся в муке, а еще зерно ищет! Да-а, таков мир. Птицы эти — как люди. Только когда глаза заполнятся землей, тогда и успокоятся, — сказала бабушка, глядя на хлопочущих у мельницы птичек.

По мокрым камням мы перешли на правый берег сая. Бабушка шла впереди, я за ней. Поднялись на холм. Отсюда мельница и ее окрестности видны, как на ладони. Вон мельник, дедушка Халназар, выносит мешки с му-

кой. Он весь белый от муки, как и сама мельница, и мешки, и мельничный двор. Под навесом на крыше мельницы кто-то лежит. Наверное, это спит внучек Халназара. Как он может там спать?! У мельницы не слышно даже гомона птиц, все заглушает шум жерновов и грохот падающей воды. Водяная пыль мешается с пылью мельницы.

Поработав у дедушки Халназара, сай спешит в кишлак. Там его тоже ждут: раскрыты устья арыков. Вода степенно, не торопясь, обходит сады и огороды, давая земле напиться вдосталь. На Мушукджаре сай опять становится бурным и порывистым. Ему надо побороть крутой холодный обрыв. Внизу — необъятные поля, они расстелят на дороге победителя свой зеленый праздничный ковер.

Марджанбулаксай, я думаю, похож на жениха — бесстрашного и сильного. А зеленая долина ждет его, как невеста. Встретившись, они превратятся в цветник, такой же яркий, как свадебное покрывало. Такое покрывало было у нашей соседки красавицы Ойбуви, когда ее выдавали замуж. И радость ароматов весны разнесется по земле, и ветер донесет запах цветов ко мне в Бешбулак, и я начну петь от радости:

Песни родников
Превратятся в реки...

Я слышал, бабушка пела такую песню.

Мы подошли к кладбищу, и бабушка что-то тихонько шептала про себя, наверное, молилась. Вдвоем присели у могилы дедушки, повернувшись лицом в сторону Мекки. Бабушка прочитала молитву вслух, и мы провели ладонями по лицу.

Я рассматривал мелкие камешки, усеивающие могильный холмик, как звезды — небо; потрогал чайник и пиалу, которые по обычаю всегда стоят на могилке.

Бабушка говорила с дедушкой...

— Здравствуйте! Заждались вы меня, отаси *, давно не приходила. Хочу с вами посоветоваться. Дети наши переехали в степь, со мной один Базарбай остался. Хороший у нас внучек, очень на вас лицом походит. Не дай аллах ему вашу судьбу! Смотрю на Базарбая и вижу: хороший человек и вправду не умирает совсем, в

* Отаси — отец моих детей.

потомках ему суждено воскреснуть. Вы воскресли в Базарбае. Мне тоже хотелось бы поскорее быть с вами и вновь возродиться. Все хорошо, отаси, ваши дети осуществляют то, о чем вы мечтали.

Я молчал, пока бабушка не провела ладонями по своим сморщенным щекам. Потом поднял чайник и пиалу с могильного холмика, и мы пошли обратно. У выхода с кладбища — там слева возвышается глинобитная сторожка, ханака — нам встретился старик Уринбай.

— Аймума-апа! Давно вас не видать. Я думал, уж жива ли? — бесцветное, с сухими нервными чертами, лицо Уринбая-бобо сложилось в подобие улыбки.

— Жива покуда, славу аллаху. Сына с невесткой в степь отправила, осталась одна с внуком. Вот и пришли мы с ним мертвых навестить, — ответила бабушка, подходя к кошме, расстеленной на глиняном полу.

— Нынче у людей память стала короткой, забыли: кто навещает предков, того аллах навещает. Все реже вспоминают мудрую старую пословицу: «Ни в богатстве, ни в нужде не забывай дорогу на кладбище». Но вчера я одного прогнал отсюда, — сказал старик, перебирая слабыми пальцами шерсть кошмы перед собой. — У тебя глаза молодые, сынок, не видишь ли ты здесь мой платок?

Я подал платок Уринбаю-бобо. Он положил свою сухую руку на мой лоб.

— Спасибо, мальчик мой. Ты сын Рахманкула? Да пошлет аллах тебе здоровье, чтобы ты жил столько, сколько лет праху твоего деда.

— Вы сказали, что прогнали кого-то с кладбища, Уринбай-ака? За какие прегрешения? — спросила бабушка.

— Забыл, как звать его, — ответил Уринбай-бобо, утирая рот платком. — Ну этот... сын Нарбека мясистого...

— Бурибай, — подсказала бабушка.

— Правильно. Говорили мне, что он — начальник над всеми магазинами. Когда хоронили мать Акбуты, встретил я этого Бурибая у ворот кладбища и сказал ему: «Верблюжонок мой, говорят, ты большой начальник всех магазинов, вот и хочу попросить у тебя один ковер. Овчины в нашей ханаке очень старые и полны блох. Не подобает такое убожество святому месту».

А вчера он пришел сюда и сказал мне: «Передам

вам ковер через одного человека. Заплатите, сколько стоит, и еще немножко сверху. Дефицитный товар сейчас не идет без «шапочки». Я ответил: «Хорошо, что знаю твоего отца, сейчас пойду попрошу его, пусть шапку тебе он заплатит». До чего дошли, мародеры, с мертвых шапку требуют! Жаль, что нет прежней силы в моих руках! Воткнул бы нож в него четыре раза! Убить такого подлеца — святое дело. И не было бы на мне греха перед богом и людьми.

— Аллах всемогущий! Что люди творят! — покачала головой бабушка.

Мы развязали узелок с едой, поставили на огонь старинный медный чайник. Бабушка ополоснула водой чайничек и пилалу, которые мы взяли с могилы бабушки. Говорят, если попьешь чая, заваренного в этом чайничке, душа привыкнет к разлуке с умершим.

С кладбища бабушка шла унылой. Я молчал и не мешал ей думать. Когда вышли на каменистую дорогу, бабушка сама обратилась ко мне:

— Послезавтра переезжает в степь семья Акмирзы. С ними и мы поедем.

— А кто же за домом будет следить?

— Дедушка Бахрам присмотрит. Корову оставим соседке, бабушке Чинни. У бедняжки в этом году корова нетельная. Чинни подоит нашу корову. А осенью, когда закончится сбор хлопка, я вернусь обратно, — сказала бабушка и опять замолчала, занятая своими мыслями.

— Почему кладбище нашего кишлака расположено на горе, и кишлака Джарбулак тоже?:

Я давно думал спросить об этом бабушку. И вообще мне не хотелось, чтобы она сейчас шла, не разговаривая со мной.

— Ты видел там, у подножия горы, родники?

— Да! Вон они тонкими прожилками текут среди мельничной пыли!

— Эти родники — несбывшиеся мечты наших предков, текут они от них к нам, и продолжается жизнь.

В душе у меня что-то сжалось, как будто холодный звонкий ручеек пробежал по сердцу. И показалось мне, что вот-вот с холма съедет к нам на белом стройном коне воин-богатырь, наш предок, закованный в латы. На боку у него рекой струится исфаханская сабля, в правой руке — огромное, как тополь, копье, а слева — блестящий, как солнце, щит. «Мы помним вас, — скажу я

ему, — слушаем мудрый говор ручьев, стекающих в Марджанбулаксай, заботимся о тихих ивах и бархатных арчовниках, бережем, как зеницу ока, Ойкор, который вы сделали нашим домом».

После долгих уговоров водитель грузовника согласился взять нас с собой. Мы поехали, и я увидел то место, где Марджанбулаксай, поборов Мушукджар, выбирается на зеленые поля Туваксай. Мне стало так радостно: сбылась моя мечта! Я всю дорогу пел песни. А бабушка не могла оторвать взгляд от Ойкора. Она не плакала, а только иногда утирала проступавшие слезы рукавом.

IV

Я быстро познакомился с кишлаком Янгнабад, куда переехали мои папа и мама. Он окружен хлопковыми плантациями. На западе от него лежит зерновое поле, простирающееся до горы, такой голой, что за это ее прозвали Еттимтаг — «гора-сирота». С правой стороны от кишлака — кладбище, а слева, в отдалении, — аэродром, где живут маленькие желтые самолеты.

Саттар, — правильно про него бабушка сказала, что он чабаном родился, чабаном и помрет, — пас на Еттимтаге большое стадо, в которое вошла и отара моего отца. Животноводством в новом совхозе занимались только немногие из наших бывших односельчан. Большинство людей вошло в бригады, осваивающие земли массива Кызыл Учкун. Сам совхоз тоже назывался «Кызыл Учкун» — «Красная Заря».

Бабушка думала, что нам надо вернуться до начала учебного года домой в Бешбулак. Но когда коробочки хлопка еще только начали раскрываться, все изменилось.

В понедельник утром бабушка опять заболела. Она дышала тяжело, казалось, воздух из ее легких выходит с большим трудом. Мать послала меня в бригаду за отцом. Когда мы вернулись, бабушка лежала тихо-тихо. Дыхание ее было еле слышно, глаза потускнели. Изредка ее пальцы, как будто жившие отдельно от неподвижных рук, царапали одеяло.

Я выбежал во двор, чтобы не разреветься.

— Иди, позови Хакима-бобо, — крикнул отец мне в окно.

Хаким-бобо, месивший глину у себя во дворе, оставил кетмень и поспешил к нашему дому. Я бежал, не успевая за его широкими шагами, и плакал во весь голос. Казалось, мне тоже не хватает воздуха, как бабушке.

— Зачем мы приехали сюда?! Хаким-бобо! Вылечите бабушку! Когда я вырасту, я сделаю для вас много-много добрых дел! Бабушка сказала: «Мы с тобой, Базарбай, обязательно должны вернуться в родной кишлак». Что будет, если она умрет?!

Хаким-бобо у нас в кишлаке — всем голова. Подойдя к бабушке, он взял ее руку в свою широкую ладонь — послушал пульс и стал дуть ей в рот. Он не очень старый, Хаким-бобо, но у него усы и большая борода. Я слышал о нем много интересного: то рассказывали, как он выведал про склад басмачей, где они хранили золото и оружие; то говорили, что в войну он побывал в фашистском концлагере.

— Хроническое удушье у бедняжки. Дефолиацию вчера проводили, надышалась ваша мать химикатов. Доктора надо, — сказал Хаким-бобо, опуская голову бабушки.

— Уже отправили за врачом Абдусамада, — ответил отец. — Почему так рано, не предупредив нас, начали дефолиацию?

— Кому-то из начальников захотелось поскорее выполнить план, — рассердился Хаким-бобо. — Знамя им, премию давай!

— Надо было еще подождать. На каждом кусте по три-четыре зеленых корбочки.

— Мать умирает, а ты думаешь о хлопке?! Ну его к черту, этот хлопок! Отара овец в тысячу раз лучше.

— Если не принимать в расчет пору окота и зимовку. Дехканни, говорят, успокаивается осенью, а чабан — только когда умрет. Люди виноваты, а хлопок тут ни при чем, — ответил отец серьезно.

— Ты, Рахманкул, у себя в бригаде командуй, а над моим языком ты не начальник. Как стал бригадиром, сразу поумнел, что ли? Много ли ты в своей жизни повидал? Когда я воевал, крови навидался, ты еще и говорить не умел. А я так скажу: человеческий ум весь мир с ног на голову переворачивает. В космос полетели, а Землю свою из-под ног у себя того и гляди потеряем. Скоро с нейтронной бомбой за кекликами охотиться будем. Вон, посмотри на мать свою...

— Зачем вы так, Хаким-ака? Не вы один думаете о мировых проблемах, — сказал наш сосед Назрулла, пришедший помочь нам.

Хаким-ака был очень сердит. Выцветшие его брови сошлись на переносье, маленькое лицо от злости сжалось в комок. Он резко заправил выбившийся у правого уха конец чалмы и через плечо взглянул на отца. Правильно говорит бабушка: характер Хакима — как порох, загорится — отца родного не пожалеет.

Стон бабушки заставил Хакима-ака повернуться обратно. Взглянув на больную, он забыл свой гнев. Бабушка лежала без сознания, лицо ее свела мучительная судорога.

В нашем недостроенном глинобитном доме стало многолюдно: соседи заходили, выходили, беспокоились.

— Никому здесь в степи не нравится, — сказал Назрулла.

— Живем, как собаки, — ни кола, ни двора, — добавил Яманкул-бобо.

— Надо поскорее возвращаться, пока не сравняли наши дома с землей. Не то приедем, а на месте кишлака застанем бахчу или пшеничное поле.

— Назрулла, брат, не говори так, прошу тебя! Иначе я за себя не отвечаю, — рука отца, схватившая локоть Назруллы, дрожала. Отец чуть не ударил парня, но усилием воли сдержал себя.

— А что, я не первый говорю об этом, — нерешительно возразил Назрулла.

Принужденно ровным голосом отец продолжал:

— Там ты не нужен. Пожили в горах, среди камней, а теперь степь надо осваивать. Эх, Назрулла!.. Не вовремя ты... Подожди, потом поговорим. Ты же ложе человек!

Послышался треск мотоцикла: Абдусамад-амаке* привел за собой медицинскую машину, белую, как молоко. Врачи сказали, чтобы люди разошлись. Дали бабушке подышать из какой-то подушки и сделали укол. Она даже не почувствовала боли и не открыла глаза. А так, я думаю, ни за что не согласилась бы делать укол. По спокойному виду доктора я понял, что бабушка скоро поправится.

Через некоторое время ей стало лучше. Бабушка мед-

* Амаке — старший брат, почтительное обращение к старшему возрасту.

ленно приподняла руку, чтобы стереть капли пота со лба. Услышав слова доктора о том, что ее надо отвезти в больницу, она отрицательно покачала головой.

— Вряд ли она согласится, ни разу в жизни не была в больнице, — прошептал отец.

Они еще долго говорили с врачом вполголоса.

Чтобы доктора успокоились и быстрее ушли, бабушка старалась держаться бодрее. В конце концов те, пожимая плечами, вышли из дома и уехали на своей белой машине.

Все разошлись, мы с бабушкой остались вдвоем. Я сам не заметил, как очутился у ее мягких рук. Бабушка погладила мои волосы, сухими губами прижалась ко лбу. Что-то прохладное и мокрое пробежало по моему лицу около уха. Бабушкина слеза, как ручеек у старой мельницы, прочертила влажный след на моей щеке.

— Чуть не умерла... — сказала бабушка, и голос ее дрожал. — Хотелось бы мне дожить до твоей свадьбы, чтобы увидеть, каким силачом-красавцем станешь ты, Базарбай... Чтобы, когда умерла я, ты мог положить полный кетмень земли на мою могилу.

Я промолчал. Когда бабушка плачет, мне трудно смотреть ей в лицо. Тихо сижу, съежившись в комочек, пока она сама не успокоится и не отпустит меня. В объятиях бабушки я чувю запах оленьей травы, горького перца, который мы собирали на Галлахирманджае и нанизывали на ниточку, как бусы. А то мне припоминается запах чабанского шалаша из сухих веток и дым костра. В ущелье Коккутан, где ночевала наша отара, костер не затухал всю ночь. Неужели я увез этот запах с собой? Он живет во мне, родной и неповторимый, как песни чабанов Ойкора.

Каждый вечер я чуть не дерусь с братишками, оспаривая место в объятиях бабушки. Если в наш спор вмешиваются родители, бабушка достается младшим.

Ночью я услышал шепот отца и матери: «Хорошо, что бабушка приехала в степь. За нею еще пять-шесть семей перебрались сюда из кишлака. Люди, вроде Яманкула-бобо, твердившее, что «степь — не наше дело», примолкли».

А бабушка всем навещавшим ее говорила: «Лучшего нельзя желать. Вон какой здесь в степи размах! Как говорится, если умрешь, имей достойную могилу».

Бабушка поправлялась, в доме у нас все ходили веселые. Теперь я решил напомнить спор Хакима-бобо и

Назруллы. Бабушка сказала, что отец терпеть не может несправедливости, это — у нас в крови. Вот и досталось в тот день Хакиму-бобо и Назрулле от отца.

Хаким-бобо — наш родственник, и тоже такой же. Ему одного слова мало, двух — много. Про таких говорят: пока черный рассердится, желтый подерется. Да что Хаким-бобо! Абдусамад-амаке — совсем молодой, а и то на все свое мнение имеет.

Когда бабушка встала с постели, она начала подумывать о возвращении в Бешбулак, но не решалась об этом заговорить с отцом. Я чувствовал беспокойство бабушки, и сам страдал — мне было очень ее жалко.

Шла подготовка к сбору хлопка. В субботу сыграли свадьбу сына Раджаба-ака и дочери Марджанкула-бобо. Моя бабушка была самой почетной гостьей на свадебном тое.

Вечером в воскресенье к нам зашли Хаким-бобо, Абдусамад-амаке и Назрулла. Мать поставила на огонь чайник, отец тонко резал помидоры на салат и слушал рассказ об одном из приключений Хакима-бобо.

— Это случилось, когда я шел из Пяджикента через Ойкор, — говорил Хаким-бобо, сам увлекшись своим рассказом. — Хотя к тому времени басмачей уже одолели, но в горах еще можно было наткнуться на остатки какой-нибудь шайки. Поэтому чабаны не ночевали на горе, к вечеру спускались с отарой в кишлак, а с рассветом опять поднимались обратно. Так что ночью в горах не было видно ни одного костра.

Верховья Ойкора плоские, как вспаханное поле. Конные состязания можно устраивать. С вершины Кункар, когда идешь от Пяджикента, диву даешься, до чего ровное у нас плоскогорье.

Места я знал, сколько раз по ним дрова возил! Поэтому шел спокойно. Луна уже прошла над Ойкором, тело горы чернело на фоне темного неба, вверху поблескивали остатки ледников. Внизу редкие огоньки кишлачных окон мигали, как глаза сатаны. Я шел, ориентируясь на лай собак.

Вдруг мне послышался какой-то шорох. Я обернулся и окаменел от страха! Волосы дыбом встали, в глазах темно, никак не могу понять, что происходит. Недалеке, вижу, — два маленьких огонька. «Волк или медведь», — думаю. Схватил я нож, — как говорят, кто боится, тот первым наступает, — и шагнул навстречу

этим дьявольским огонькам. Еще подумал в эту минуту: «А вдруг и вправду сам сатана?!»

— Ну и загнули вы, Хаким-ака! Врать тоже уметь надо, — недоверчиво засмеялся Абдусамад, — еще немного послушаем, скажете, что это не медведь, а дракон был! Сатане на Ойкоре делать нечего. Дьявол не ходит там, где люди дорогу протоптали. Что мы, дети, что ли?

— Помолчи, Абдусамад, когда говорят старшие. Я в десять раз больше тебя рубашек износил. Хоть и не учился, а голова у меня работает, как у этого бригадира, — Хаким-бобо кивнул головой в сторону моего отца так, как будто хотел его боднуть.

— Аллах свидетель, в ваших историях девяносто девять процентов выдумки. Сколько живу на свете, столько слушаю ваши рассказы, и с каждым разом выдумки становится все больше. Рассказывали бы лучше то, что вправду было, — не унимался Абдусамад, разоблачая Хакима-бобо.

— Ничего с нами не случится, Абдусамад, если еще раз послушаем, — утихомирил их обоих отец.

— Как назначили главным чабаном парня, так и стал у Абдусамада нос вверх расти. Людям слова сказать не даст, — зло вставил Хаким-бобо.

— Это уже лишний разговор, Хаким-бобо! Ладно, я умолкаю. Простите, пожалуйста, — ударил правой рукой себя в грудь Абдусамад.

— А вы рассказывайте дальше, Хаким-ака! Мы не знаем и десятой части из того, что вы повидали, но мы мастаки с ходу хвататься за воротник, — с издевкой проговорил Назрулла, сообщнически пригибаясь к Хакиму-бобо.

— Нет! С сего момента при вас буду говорить только то, что есть на самом деле.

— Да простите же! — примирительно повторил покрасневший Абдусамад.

Хаким-бобо не ответил. Назрулла играл кисточками цветных нитей на кончике дастархана*. Неловкую тишину нарушил отец:

— Хаким-ака, лучше расскажите, с чем ко мне пришли. Ведь не без дела заглянули вы в мой дом, а об этом молчите.

— Вы все мозги закрутите! Скажешь — плохо, не

* Д а с т а р х а н — скатерть.

скажешь — опять плохо... Один — бригадир, другой — главный чабан, ни к кому не подступиться. Из-за вас другие люди страдают...

— Разве мы кому-то сделали плохо? — серьезно спросил отец.

— Все говорят, один ты ничего не знаешь. Вы нарушили спокойствие целого кишлака! Зачем нам жить в степи? Нюхать эти вонючие «лекарства» с самолета?! Так мы далеко не уйдем, браток!

— Не к лицу нам бежать при первых трудностях, Хаким-ака! Я — коммунист, не для этого вступал в партию. В горах мы жили, как жилось. А сюда переехали, чтобы изменить течение жизни, убыстрить, что ли. Ведь неинтересно всю жизнь плыть по течению... Если надо будет, я и в пустыню поеду.

Отец сказал все это на одном дыхании, так уверенно и гордо, что мне показалось, другие ничем не смогут ему ответить.

Назрулла действительно раздумал говорить то, что минуту назад вертелось у него на языке. А Хаким-бобо, хлебнув из пиалы холодного чаю, продолжил как ни в чем не бывало:

— Рахманкул, я хочу, чтобы ты правильно понял меня. Можно подумать, я государственное дело не поддерживаю! Если ты считаешь так, я сейчас же замолчу и, хоть убей, рта не раскрою. За нашу землю, за наше государство я сражался на войне, получил семь ранений. Контузия у меня была, поэтому если что не так говорю, не обижайся. Слова я могу перепутать, а в жизни меня не запутаешь.

Вот ты сам рассуди: раны у меня до сих пор гноятся. Ноги не годятся никуда — сесть как человек не могу. А к врачу пошел, врач меня, вместо того, чтобы посмотреть как следует, использовал как наглядное пособие для студентов-практикантов. Пришлось придумать какой-то предлог и потихоньку удирать, пока не выставили нагишом перед юнцами и сопливыми девчонками. Вовек не забуду я этому врачу его проклятую практику!

У тебя в бригаде, Рахманкул, я — простой поливальщик. Скоро пенсия, а разве я проживу на нее? Зарплата-то не бригадирская! Ладно. Есть у меня две пары овец, обувь умею ремонтировать, — проживу. Жду не дождусь этой пенсии. В воде за день навозишься, ночью ноги — хоть отрезай, до утра уснуть не могу.

Вдобавок эти химические «лекарства» так воняют, что кажется, будто душит тебя кто.

Больница у нас не близко — в Джизаке. На автобусах с двумя пересадками туда ехать надо. А есть у меня хоть один свободный день на неделе? Ведь ты, бригадир, и в субботу, и в воскресенье нам покоя не даешь. Имеет совхозный рабочий право отдыхать в воскресенье? Ты почему законы нарушаешь?! В городе, слышал я, рабочие даже два дня в неделю отдыхают!

Я — не бездельник, не собираюсь играть в камешки, как играли мы в горах, когда нечего было делать. Взрослым мужчинам надо иметь дело, достойное их сил. Я горжусь даже, что мы в числе первых, кто пришел осваивать степь. Раз пришел человек в этот мир, он должен поработать от души, насладиться трудом и плоды своих рук оставить после себя. Но пусть поработают и ученые. Ты говорил, что они могут создать хлопчатник, листья которого сами будут опадать, когда хлопок созреет. Где же этот хлопчатник?

На дастархан принесли айвовый плов, и спор сам собой прекратился. Гости молча, движением руки приглашая друг друга разделить трапезу, потянулись к плову. Мать тихо, кивком головы велела мне пойти к братишкам.

V

Все мысли бабушки были обращены к родному кишлаку. Она тосковала о доме, о корове, которую оставила на попечение соседки Чинни. Каждый день бабушка строила планы переезда, утром за завтраком и вечером после ужина всегда старалась завести разговор об этом.

— Не надо, мама! Вот — теплый дом, вот — готовая еда, чего вам еще не хватает?

— Ну... что ты... надо возвращаться... Дом наш без жильцов сам собой развалится, — виновато говорила бабушка.

— Не обижайте мать, пусть она живет, где захочет. Ведь для нас главное — ее здоровье и благополучие, — вставляла мама, как бы советуясь с отцом.

— С вами не сговоришься, — согласился наконец папа. — Хорошо! Закончим уборку урожая, отвезу вас обратно.

— А ты не отрывайся от дела, сынок. Усади меня и Базарбая на автобус — и все. Мы сами доберемся. Не заблудимся, на свете много добрых людей, попросим, они дорогу подскажут.

— Зачем спешите? Кто вас гонит? — сказал отец и поспешно вышел. Его ждала машина, на всю улицу раздавались ее долгие гудки.

Бабушка прикрнула у старой подушки, незаметно вытирая слезы. Я увидел, какая она у нас маленькая... В этот день я действительно обиделся на отца. Все в доме знали, почему он не отпускает бабушку, только, словно по команде, молчали об этом. Я сам слышал, как отец однажды тихо сказал маме: «Если что-нибудь случится, люди наговорят, что я не сумел ужиться с матерью, оставил старуху в горах одну, и некому было ухаживать за нею в трудную минуту. Что бы ни произошло, она должна жить с нами».

Весь ужин бабушка просидела, ничего не взяв в рот. Она несколько раз подолгу смотрела на меня. После ужина я потихоньку подобрался к ней. Бабушка крепко обняла меня, смахнула слезинку со щеки. Так мы и сидели с ней, молча прижавшись друг к другу.

В полночь меня разбудило бабушкино жаркое дыхание. Сначала подумал, что вижу сон. Потом понял, что не сплю, но продолжал лежать, не раскрывая глаз, чтобы бабушка не почувствовала, что я проснулся. Если почувствует... тогда... не знаю, что будет.

Бабушка гладила мои волосы и шепотом разговаривала со мной. Она плакала, я чувствовал ее слезы.

— Базарбайджан! Верблюжонок мой! Свет моих очей! Я долго не проживу. Чувствую это. Что делать, некому мне открыть свое сердце! И отцу твоему тяжело: работа, дом, тут еще я!..

Оказывается, самые чистые периоды жизни человека — детство и старость. И у тебя, и у меня одна боль, верблюжонок мой! Ты привык ко мне. Как переживешь разлуку? Зачем я, старая, так приучила тебя к себе? Я умру в степи. Как теперь дух твоего деда найдет меня?

Бабушка говорила еще что-то, но я не расслышал. В голове шумело, чтобы заглушить рвущийся наружу плач, я повернулся и уткнулся лицом в подушку. Не хватало воздуха, но в эту минуту мне не хотелось дышать совсем.

Сон ушел. Я не мог спать и не мог молчать. Мрач-

ные мысли одолели меня. Почему бабушка так говорила со мной? Теперь она уснула, ее седые волосы белым снегом серебрятся на подушке. А вдруг она сейчас уйдет от нас в тот мир, откуда никто ее не вернет?! А если утром бабушка проснется и посмотрит мне в глаза, как я удержусь от слез? Я не сумею сделать вид, что не слышал ее ночного разговора. Мне надо исчезнуть, спрятаться. Утром я погоню корову в стадо на Эттимтаг, а обратно не вернусь. И бабушка никогда не увидит меня. Прощайте, моя дорогая бабушка!

На рассвете, раньше обычного, я отправился на запад к горе Эттимтаг через богарные поля. Я шел, не разбирая дороги. Слезы застилали мои глаза.

Люди будут ходить по земле, петь песни, собирать хлопок, а моя бабушка... Не-е-е-ет! Ойко-о-ор! Где ты-ы-ы? Слышишь ты меня? Бабушка моя, самая лучшая на свете моя бабуленька... неужели она нас покинет? И не будет по утрам рассказывать свои сны Марджанбулаксаю? И не пойдем мы с ней на Галлахирманджай собирать травы? Неужели?! Лю-у-ди! Бабушка моя уходит! Скажите, что мне теперь делать?

Обессилев, я упал на землю. Весь мир завертелся вокруг, как вода у Мушукджара. Казалось, небо водопадом упадет на меня. Громом отдавался в ушах лай собак, утреннее пение жаворонка, голос чабана, звавшего овец...

Я очнулся... Голова болела, во рту было жарко и сухо. Тело мое покачивалось из стороны в сторону. Чабан Саттар вез меня на своем ишаке в кишлак.

Хотелось крикнуть: «Отпусти меня! Я сам», но язык не слушался. Уши тоже: по движению губ Саттара я видел, что он говорит со мной, но звука не было.

И вдруг я подумал о том, что, наверное, происходит сейчас у нас дома. Подумал, и похолодело все внутри.

Когда проехали по железному мосту через канал, я понял, что приближаемся к дому. Первый звук, который я услышал, был плач, доносившийся со стороны кишлака. Я тоже заплакал. Вот сейчас у ворот дома нас встретит отец, мать, братья, наши родственники в траурной одежде.

Саттар, что-то приговаривая, размазывал мне по щекам слезы своей шершавой рукой. Хотел меня утешить.

Вот он, наш дом. Глинобитная стена, куча верблюжьей колючки и стеблей гузапан у огорода, ще-

бень, сложенный у недостроенных ворот. Все спокойно, людей нет. Значит, мне все приснилось? Надежда теплой искоркой засветилась в моем сердце.

Моя бабушка жива! Моя дорогая, самая лучшая на свете бабушка никогда не умрет! Она всегда мечтала: «Даст аллах, выращу своих внуков и попляшу на их свадьбе». Я восторженно радостно. Теперь надо как-нибудь освободиться от Саттара, который все еще болтает без умолку. А то наговорит родителям всякого!

Я сделал вид, что устал лежать и мне надо подняться, а сам соскользнул со спины ишака и что было силы побежал в сторону канала.

— Я сам пойду-у! — закричал я в ответ на вопли удивленного Саттара.

Спрятавшись за кучу земли, насыпанной во время рытья канала и поняв, что Саттару меня уже не догнать, я даже перекувырнулся на радостях. Потом сел отдышаться и еще раз все обдумать. И тут опять услышал плач. Плакали в стороне кладбища. Кого же сегодня отнесли в вечный дом? Может быть, старика Закира-бобо, приехавшего из кишлака Равват?

Я пошел домой. По дороге мне попадались люди, идущие по направлению к дому Закира-бобо. Отца и мамы дома не было, видно, они тоже ушли на похороны.

Крадучись, как вор, я прошел через калитку. Бабушка сидела во дворе, ее лицо было обращено к небу.

Хотелось есть. Я потихоньку зашел в дом и взял хлеба. Весь день я только и делал, что старался не попасться бабушке на глаза. Мне очень хотелось подойти, прижаться к ней, но я боялся. Думал: вдруг заплачу? А к вечеру так соскучился, что когда бабушка спросила: «А где же мой Базарбай?», ноги сами принесли меня к ней. Я так обрадовался этим словам, что даже забыл про слезы.

Отец вернулся с похорон Закира-бобо усталым и сердитым.

— Почему так поздно? — спросила мама.

— Слышал я раньше про такое, но слухам не верил. Теперь своими глазами убедился, — сказал отец сурово. — Закир-бобо завещал похоронить его в Раввате. Отвезли мы его тело на Равватское кладбище. Стали рыть могилу. Там попробовали, тут попробовали — земля, как камень.

Что греха таить, Закир-бобо был человеком, ни разу в жизни не державшим в руках кетмень. Как стала расти у него борода, сложил ладони лодочкой и всю жизнь кормился с кладбища, можно сказать, глину с него лизал...

На свете много добрых людей, среди них один-два бездельника, казалось бы, могут прожить незаметно. Когда мне раньше говорили: «Земля не хотела принять этого человека», я думал, это образное выражение. Но, поверишь ли, в четырех местах начинали мы рыть и постоянно наткнулись на камень. Когда уже стемнело, решили разрыть старую могилу и похоронить в ней тело Закира-бобо. Оказывается, правда: земля отличает плохого человека от хорошего.

— А что, нельзя было похоронить его тут? — удивилась мать.

— Последнее желание умирающего надо было исполнить. Когда наткнулись два раза на камни, кто-то сказал, что не стоило Закиру-бобо оставлять такое завещание. Перед землей все равны. Если человек начинает заранее выбирать себе место вечного покоя, земля на него может рассердиться.

Потом подумали, не отвезти ли и в самом деле обратно в Янгиабад. Но староста на это не согласился: «Нельзя, — сказал, — возить туда-сюда, мучить покойника».

Бабушка очень внимательно слушала рассказ отца. Потом она долго шептала что-то про себя, и ее трудное дыхание мешалось с этим страстным шепотом.

Беспокойство опять овладело мной, и, когда все улеглись спать, я, как ни старался, не мог сомкнуть глаза. Потихоньку я выбрался из объятий спящей бабушки и перелег к братишкам.

Утром бабушка онемела. Дом опять наполнился людьми. Абдусамада-амаке на его стареньком мотоцикле опять отправили за доктором в центр. Пришел Хаким-бобо. По его совету мама прикладывала ко рту бабушки вату, увлажненную водой. Бабушка как будто бы ничего не чувствовала, ее провалившиеся глаза смотрели неподвижно в потолок.

— Ноги холодеют, — шепнул Хаким-бобо отцу.

— Что нам делать?!

— Все. Прощайтесь. У нее уже кровь отливает от лица.

В этот момент мама, сидевшая у бабушки в изголовье, нетерпеливым жестом позвала отца.

— Вас зовет, — сказала мама.

Отец тяжело подошел и встал на колени перед бабушкой. Его руки, как плети, висели вдоль тела.

— Мама... Мамочка... Как вы себя чувствуете?.. — в голосе отца дрожали слезы.

— Рах... Рахманкул, сыночек! Я довольна... Хорошо, что приехали в степь...

Бабушка умолкла, она устала говорить. Ее глаза беспомощно закатились под веки.

— Аймум-апа! Где вас положить? — громко спросил Хаким-бобо, наклонившись к самому уху бабушки.

— Здесь. Вода Ойкора... течет сюда...

Она хотела еще что-то сказать, моя дорогая, моя самая любимая бабушка... но больше не смогла говорить.

И тут я заревел. Мой плач подхватили женщины во дворе и все, кто был дома. Я ходил от одного плачущего к другому. Мне казалось, что они — самые близкие мне люди.

Джаназ — погребельную молитву над телом — читал мулла Мансур. Я со всеми мужчинами пришел на кладбище. По дороге, чтобы не отстать, держался за поясной платок отца.

Когда все по очереди стали забрасывать землю в могилу, отец передал мне кетмень из своих рук.

— Держи, сынок.

Все забрасывали по три кетменя. Таков обычай: первый кетмень значит, что все мы созданы из матушки-земли, второй — что все вернемся в нее, а третий — опять вырвемся из земли.

Я почувствовал, что кто-то торопится перенять из моих рук кетмень, повернулся и увидел Рахима-бобо, подоспевшего на кладбище. Не обошлось без него и это погребение.

По утрам долго лежу, не раскрывая глаз. Я часто вижу во сне бабушку, и мне не хочется с нею расставаться. Но утро мне не подчиняется, солнце будит меня.

— Бабушка скоро вернется? — спрашивает сестренка Мунира.

— Да, — отвечаю я, но знаю, что это неправда. Нету нашей бабушки, которая рассказывала нам сказки, пела песни и водила нас в горы. Бабушка погребена на степном кладбище, и я с тех пор навсегда остался жить в степи.

Когда Мунира спросила отца: «Где бабушка», отец серьезно ответил: «Она превратилась в реку». Скоро я поведу Муниру на Еттимтаг, чтобы она могла встретиться с нашей бабушкой. С горы видно большую реку Сангзар, которая несет в себе воды Марджанбулаксай.

Каждое утро, отогнав корову в стадо, я взбираюсь на Еттимтаг, чтобы поздороваться с рекой. Река моей бабушки течет полноводно и весело. Пусть бабушка теперь не может обнять и поцеловать меня, зато я пою реке нашу с бабушкой любимую песню:

Песни родников
Превратятся в реки...